

ОТЗЫВ

о диссертации Л.А.Симоновой на соискание ученой степени доктора филологических наук «Французская проза первой половины XIX века и проблема личного письма»

Становление субъективности в культуре романтизма – давняя, почтенная тема в отечественной науке о литературе, и Л.А.Симонова в своей диссертации законно обращается к ней вновь. Избранный ею аспект проблемы связан с субъективностью не героя, а автора – вообще пишущего человека, и именно постольку, поскольку он пишет о себе. Можно определить это как феноменологию писательства в литературе конца XVIII – начала XIX века, изучение ситуаций, когда создание профессиональных или частных текстов «о себе» (писем, дневников, автобиографий) непосредственно предъясняется читателю как процесс становления и осуществления авторской личности. Подобные ситуации автор диссертации – насколько я понимаю ее мысль – характеризует понятием «личное письмо». Слово «письмо» в русском языке неоднозначно, оно соответствует французским словам *écriture* (которое имеется в виду автором) и *lettre*, и иногда эти два значения, письмо как процесс и письмо как почтовое отправление, соседствуют и путаются, но в целом пониманию сути дела это не мешает.

Тексты «личного письма» подвергаются в диссертации имманентному анализу: отбрасываются как нерелевантные все вопросы референции (соотношения «личного письма» с внешней реальностью авторской биографии), и внимание сосредоточивается на самом процессе письма, в котором, по мысли исследователя, обретает высшую

истину человеческое бытие. «Литература в романтизме становится последним откровением о человеке, она даёт надежду пишущему на обретение самотождественности, высшей правды о самом себе» (с. 17); «личное письмо – это не только стремление обрести утраченное время, не дать прошлому ускользнуть в небытие, но и желание заполнить собой время, закрепить свою власть над ним, расширить своё “я” до вечности» (с. 86); «художественное слово есть не просто слово о жизни, но слово жизни» (с. 118), – такие формулировки, онтологизирующие романтическое письмо и его субъекта, энергично повторяются на протяжении всей диссертации.

Анализ конкретного литературного материала предваряется очень подробным вступительным разделом, где в несколько прихотливом порядке излагаются концепции современных (французских) теоретиков и историков «личного письма», а также общие положения самого автора, призванные характеризовать этот феномен. Л.А.Симонова предприняла широкое обследование вторичных (научных) источников, ее библиография насчитывает всего более 650 названий, а в числе теоретиков, на которых она опирается, – крупнейшие философы и литературоведы Франции: Ролан Барт, Мишель Фуко, Жорж Гюсдорф, Поль Рикёр, Филипп Лежён. Изучается, таким образом, актуальная, широко обсуждаемая в науке проблема.

Приходится, однако, сразу заметить, что проблема эта, как и само понятие «личного письма», определены в работе недостаточно четко. Л.А.Симонова нередко говорит не о «личном письме», а просто о «письме» – и в этой терминологической подмене есть некоторая хитрость, так как вообще-то авторская личность осуществляет себя в любом творческом акте, включая любой акт литературного письма; это имели в виду многие цитируемые в диссертации французские теоретики – например, Барт или Фуко, которые трактовали именно о «письме», а не специально о письме «личном». Итак, уже сам заглавный термин диссертации вариативен и позволяет усомниться в специфичности изучаемого объекта.

То определение «личного письма», с которого я начал свой отзыв, – это моя собственная предположительная реконструкция авторской мысли, сам же автор диссертации не дает точного, однозначного определения своего предмета. И дело здесь не просто в отсутствии формальной дефиниции («под “личным письмом” понимается...»). В ходе самого исследования, проводимого Л.А.Симоновой, его предмет остается зыбким, допускающим разные понимания. Это не очень хорошо: описывая род словесной деятельности, для которого, как не раз констатируется в диссертации, характерны высокая степень свободы и подвижности – неопределенность жанра, стиля, характера героя, его воззрений, – следовало бы тем более аккуратно отграничить предмет от других, смежных явлений.

Очевидна неточность хронологических рамок исследования: в названии диссертации говорится о «французской прозе *первой половины XIX века*», тогда как ее первая глава посвящена «Прогулкам одинокого мечтателя» Руссо, написанным в 1776-1778 годах. Конечно, прозу Руссо можно при желании трактовать как «предромантическую», но что

мешало точнее озаглавить диссертацию? Кстати, хронология творчества Руссо в работе искажена: утверждается, что «только десять последних лет Руссо были посвящены литературному творчеству» (с. 176): на самом деле Руссо умер в 1778 году, а его первый роман «Юлия, или Новая Элоиза» написан в 1761-м, - получается не десять, а целых семнадцать лет.

Неточно очерчены и границы исследуемого материала. Корпус изучаемых текстов сравнительно невелик: рассматриваются отдельные произведения или даже фрагменты произведений шести франкоязычных писателей: Руссо, Сенанкура, Шатобриана, Констана, Сталь и Жорж Санд; автору диссертации принадлежит также объемистая монография о Бальзаке, исследующая сходную проблематику, а вопрос о «личном письме» у Стендаля вынесен за рамки диссертации как тема для отдельной будущей работы. В целом, однако, выбор именно этих авторов, текстов или фрагментов не получает четкого объяснения, а этот выбор отнюдь не всегда очевиден. Так, из «Прогулок одинокого мечтателя» рассматриваются только 4 первых главы (всего их в книге 10); за рамками детального анализа остается и вся остальная автобиографическая проза Руссо, включая знаменитую «Исповедь»: то ли она не относится к «личному письму», то ли исключена по какой-то другой причине. Столь же произвольные, не объясненные или слабо объясненные изъятия сделаны и в творчестве других писателей: у Шатобриана оставлены в стороне (если не считать отдельных мотивов, служащих для параллелей) собственно автобиографические «Замогильные записки», зато разбирается повесть «Рене», автобиографичность которой не столь бесспорна; у г-жи де Сталь подробно анализируется роман «Дельфина» и практически ничего не сказано о втором ее романе – «Коринна»: может быть, он не относится к «личному письму», потому что повествование в нем *в основном* идет от третьего лица? но даже в таком случае это решение надо было бы эксплицировать.

Концептуальный объект исследования определен не более четко, чем эмпирический. «Личное письмо» выделяется то ли по формально-языковому (речь от первого лица), то ли по содержательному (самообоснование субъекта) критерию, и никаких четких объяснений на сей счет диссертация не содержит. Между тем эти два определения не эквивалентны: от первого лица можно свидетельствовать о нейтральных фактах, не связанных с личным становлением автора, или же рассказывать о мыслях и переживаниях совершенно чуждых ему литературных персонажей; а личностное становление может изображаться в тексте и косвенно, без слова «я» - например, через картины природы, через рассказ о чужих делах или даже через интерпретацию чужого текста... Возникает сомнение: если «личное письмо» не есть ни особый, формально определенный тип дискурса, ни специфическая экзистенциальная ситуация личности, то существует ли оно вообще как самостоятельный объект? Л.А.Симонова уклоняется от ответа на такой вопрос, а это подрывает первые два из ее «положений, выносимых на защиту»: о «подвижности жанров личного письма» и о «романизации автобиографической прозы», которая стирает «границу» между нею и романом (с. 17). Не то чтобы эти положения были ложны, но их невозможно *защитить*: логически бессмысленно доказывать

подвижность пределов объекта, который изначально был задан как неопределенный; тут не может быть предмета для дискуссии, для возможных возражений и опровержений, а между тем опровержимость (фальсифицируемость) является необходимым условием научности.

Судя по всему, второй критерий – содержательный, экзистенциальный – представляется Л.А.Симоновой более важным для понимания «личного письма», чем первый. Во всяком случае, ее работа не содержит систематического анализа языковой, дискурсивной формы «личного письма». Не ставится, например, вопрос о том, является ли «личное письмо» особым *стилем* или, может быть, в нем особым способом используются и комбинируются существующие стили; а жанровые категории упоминаются, как мы видели, лишь для того, чтобы заявить об их «подвижности», то есть нерелевантности для определения изучаемого объекта. «Личное письмо» описывается главным образом как феномен не столько словесного творчества, сколько душевной жизни автора. Но отсюда возникает серия общих проблем, которые в диссертации не решены или даже не поставлены.

Первая из них – это проблема исторической контекстуализации. Не только формы письма – формы душевного опыта тоже имеют свою историю, и, скажем, «история эмоций» активно изучается ныне в западном литературоведении. В каком культурном контексте возникает желание писать о себе? какие общественные, а не только интимные импульсы побуждают к этому человека? как меняются эти импульсы на протяжении изучаемого периода (он охватывает более 70 лет, и это поворотная эпоха новоевропейской истории)? как развивается «личное письмо» в течение этих лет – хотя бы в силу внутрилитературных причин, просто из-за того, что писатели читают друг друга и учитывают чужой опыт переживания и творчества? Все эти вопросы не только не поставлены в диссертации, но даже не оговорены как сознательно, методологически ответственно вынесенные за ее рамки.

Между тем некоторые исторические сопоставления «личного письма» напрашивались – например, с *религиозной культурой* самонаблюдения и самоописания. Из шести писателей, рассмотренных в диссертации, трое – Руссо, Констан и Сталь – были уроженцами Швейцарии, а еще один, Сенанкур, почему-то отправляет своего героя Обермана из Франции в Женеву, чтобы он там вел свой дневник. Такое тяготение к протестантской стране, скорее всего, не случайно: в протестантизме, (особенно в пиетистских течениях XVIII века, но не только) самонаблюдение и писание дневников, автобиографий и прочих «личных» текстов широко практиковались, предписывались как формы духовной работы. Таким образом, за «личным письмом» стоят вполне социальные, утвержденные в обществе традиции и практики, задающие рамки для самого интимного внутреннего опыта. В диссертации Л.А.Симоновой эти (и другие подобные им) рамки почти не берутся в расчет, «личное письмо» соотносится не с конкретными историческими формами религии, а с общим представлением о Боге, в которого верили или не верили романтики (см. о этом ниже). В истории литературы не обязательно объяснять тексты отдаленными социальными факторами вроде экономики или политики, но ближайший социокультурный

контекст упускать из виду нельзя. Во всяком случае, с учетом такого контекста утверждение «письмо у Сенанкура есть способ бегства от мира» (с. 243) пришлось бы пересмотреть и как минимум уточнить: если это и «бегство», то запрограммированное, структурированное самим «миром».

Вторая проблема, не получающая убедительного решения, - это проблема истинности «личного письма». Л.А.Симонова неоднократно, с самого начала своей работы подчеркивает, что не будет оценивать фактическую достоверность «личных» текстов, их истинность имманентна им самим: «Проблема факта и вымысла последовательно снимается – первичен, самодовлеющ сам пишущийся текст» (с. 4). Такое методологическое ограничение уже давно практикуется в некоторых направлениях литературной науки: скажем, Жан Старобинский применял его в работах о Руссо; при этом обычно разграничиваются «правдивость» и «подлинность» дискурса, первая понимается как верность фактам, а вторая – как искренняя убежденность пишущего, возможно расходящаяся с фактами. Данный подход можно было бы понять и принять; однако сама же Л.А.Симонова вводит понятие, которое ему имплицитно противоречит, - она неоднократно утверждает, что в «личном письме» создается «личный миф» (с. 251), «миф о “я”» (с. 17), то есть, насколько можно понять, некоторый смысловой инвариант, проходящий через разные (в том числе и разные по жанру) тексты данного автора. Однако убедительность мифа – иного порядка, чем убедительность отдельного высказывания: она определяется структурной связностью инварианта, а не искренностью говорящего («в романтической литературе главный Читатель – Бог, отсюда – установка на исповедальность, правдивость, искренность высказывания» - с. 132); бессмысленно говорить об «искренности» рассказчика мифов, а структура не может обладать «высшей правдой». Идея «личного мифа», если обдумать ее до конца, ставит под вопрос утверждения Л.А.Симоновой о личностной непосредственности изучаемых текстов.

За этим скрывается и более общий факт, который Л.А.Симонова совсем не упоминает в своей работе, - а именно то очевидное обстоятельство, что «личное письмо» можно *имитировать*, создавать искусственную иллюзию искренности и интимного личного опыта: имитировать не в смысле симуляции чего-то несуществующего, а в смысле подражания словам и чувствам других. (Кстати, фактические неточности дискурса, вопрос о которых Л.А.Симонова полностью отбрасывает, могут пригодиться как симптомы при обнаружении таких подражательных процессов.) «Личная», например автобиографическая, проза имеет за собой многовековую традицию – она идет от античности (Августин) до новоевропейской эпохи (Монтень) и включает в себя не только аутентичные, но и фиктивные образцы рассказа о себе: скажем, Даниель Дефо включает в «Робинзона Крузо» обширные фрагменты самоанализа своего героя, сочиняет его дневник (характерно, кстати, что речь идет о верующем протестанте). У этой традиции есть свои наработанные схемы и стереотипы, и новые писатели, зная произведения своих предшественников, не могут сознательно или бессознательно не следовать им. Если их письмо и выражает истину, то

это не только истина их интимных чувств, но и истина культурных традиций, которыми эти чувства (и их выражение) обусловлены. Автор диссертации, хоть и проводит некоторые частные сравнения с традицией (особенно с «Опытами» Монтеня), никак не затрагивает проблему имитации, видимо, признавая «личное» слово всецело аутентичным; между тем задача филолога – проверять слово, и не только внесловесными фактами биографии, но и другими, чужими словами, которые могли в нем отозваться. Это не значит, что писатели-романтики кривили душой, рассказывая о себе, – просто природу и меру их искренности и исповедальности можно понять только при сопоставлении с культурным, прежде всего литературным, фоном.

Третья общая проблема, возникающая в связи с «личным письмом», – это проблема идентичности субъекта. О том, что, собственно, делает субъект в процессе такого письма, автор диссертации высказывается неоднозначно и скорее уклончиво, например: «...интенции *свидетельствующего* о себе автора, который *пишет* себя, то есть *создаёт* себя в слове, *открывая* своё истинное “я”» (с. 10, курсив мой). В других местах работы говорится также об авторском «выражении», о «поиске» им собственного «я», о «возврате пишущего к самому себе», об «овладении подлинностью своего “я”»: то есть перечисляются очень различные модусы авторского присутствия – то ли автор «ищет» и «открывает» какое-то уже имевшееся «я», дабы воссоединиться с ним, «вернуться» к нему, «овладеть» его подлинностью, то ли он «пишет» и «создает» его в момент письма, то ли он «свидетельствует» об этом «я» и «выражает» его (выражает готовое «я» или процесс его создания?). Исследователь, кажется, пытается охватить и перечислить все эти разные аспекты, не проводя различий между ними и тем более не делая из них выбора.

Л.А.Симонова решительно возражает тем ученым, кто сближает романтическое «личное письмо» с псевдоавтобиографической прозой позднейшей эпохи (autofiction). Различие этих двух форм творчества, по ее словам, заключается в серьезном единстве романтического субъекта, которое противостоит раздвоению и распаду субъекта в литературе «постмодернизма»:

Идея «я-другой» («я как другой») применительно к автобиографической прозе XIX века совершенно логично приводит исследователей к autofiction как аванюре текста, предполагающей бесконечное тиражирование образов «я», бесконечную смену ролей, масок – то, что характерно для эпохи постмодерна. Согласно такой позиции получается, что *личное письмо* является не присвоением автором своего «я», но самоотчуждением. Однако принципиально важно, что автор *личного письма*, в отличие от автора autofiction, верит в свою тождественность создаваемому в *письме* «я» (с. 113).

Аргумент о «вере» автора в свою тождественность, то есть правдивость самоописания, уже рассмотрен выше: адекватность этой веры трудно оценить без сравнения с культурной традицией, иначе данный аргумент остается скорее декларацией, чем проверенным доводом. Что же касается собственно вопроса о человеческом «я», то, конечно, нет причин отождествлять романтическое письмо с

постмодернистским (что бы ни понимать под последним); но вообще статус субъекта в романтизме не вполне описывается настойчиво повторяемым тезисом Л.А.Симоновой о «присвоении “я”» и о совпадении автора с собственным образом, и ее утверждение «не может одновременно предполагаться и “целостность”, и “раздвоение”» (с. 102) исторически неточно. Дело в том, что как раз романтики активно выдвинули – в философии и в литературе – идею неравенства личности самой себе, ее раздвоения и «самоотчуждения», которое не исключает целостности: целостность образуется именно в процессе и результате отчуждения, и такой процесс называется *диалектикой*. Само слово «отчуждение» в данном контексте отсылает к диалектике Гегеля, а в литературе идея «я – другой» высказывалась много раз задолго до знаменитого текста Рембо: еще гетевский Фауст признавался, что в нем живут «две души», а Жан-Жак Руссо озаглавил один из своих автобиографических текстов (не рассмотренный в диссертации) «Руссо – судья Жан-Жака», имея в виду именно критическое раздвоение, самоотчуждение личности. Ту же ситуацию сама Л.А.Симонова, противореча собственному общему тезису, обнаруживает и в «Обермане»: «Сенанкур не перестает наблюдать за самим собой, но при этом *наблюдает за собой как за другим, отчуждает свой опыт*, оставляя за собой роль Судии» (с. 231, курсив мой).

Можно, конечно, возразить, что в названных случаях самоотчуждение – серьезное, а не игровое; однако в романтизме – первоначально немецком, а затем и французском – была выработана и специальная игровая стратегия личностного самоотчуждения: имеется в виду *романтическая ирония*, пришедшая во Францию через Гофмана и усвоенная такими писателями, как Готье, Мюссе и Нерваль. Их произведения не рассматриваются в работе Л.А.Симоновой, но коль скоро, по ее же мысли, верность биографическим фактам не есть определяющий признак «личного письма», а «личный роман» ничем принципиально не отличается от дневника или автобиографии, то такие книги, как «Мадемуазель де Мопен» Готье или «Путешествие на Восток» Нерваля, можно было бы причислить к «личному письму» по тем же основаниям, что и «Рене» Шатобриана: в них тоже происходит «собрание “я”» героя-рассказчика, осуществляемое через игру масок (у Готье) или мифических перевоплощений (у Нерваля). Тезис Л.А.Симоновой о самотождественности субъекта фактически держится на произвольном подборе текстов, да и в рамках данного их набора он оправдывается не всегда и не вполне: еще один результат неточного определения предмета.

В поисках основания романтического субъекта Л.А.Симонова обращается к религиозному аргументу: в «личном письме», утверждает она, «сближаются человеческое слово и Божественный Логос» (с. 112), именно Бог является идеальным адресатом такого письма, тем слушателем, перед лицом которого писатель раскрывает тайны своей душевной жизни. Проблема религиозности у романтиков важна и сложна; выше я отмечал, что практику «личного письма» можно было бы связать с некоторыми исторически конкретными формами религиозного сознания. Однако предполагать, что все романтики (или хотя бы все из

них, кто практиковал «личное письмо») являлись религиозными людьми и переживали в своем слове присутствие «Божественного Логоса», - было бы неосмотрительно, и доказать такое невозможно. Сама же Л.А.Симонова признает в другом месте, что «в романах Шатобриана и других французских романтиков ярко прослеживается утрата христианской религией её онтологического и аксиологического статуса» (с. 272). Бог, безусловно, присутствует в душевном опыте Шатобриана и даже Руссо, но это труднее утверждать в отношении ряда других авторов «личного письма», причем по разным причинам: у кого-то из-за равнодушия к религии (Стендаль), у кого-то из-за обдуманного религиозного скептицизма (Констан и Сталь, серьезно размышлявшие о множественности и ненадежности религий), а у кого-то, наоборот, из-за энтузиастического религиозного синкретизма, многоверия и многобожия, где нет места для фигуры единого божества (уже упомянутый выше Нерваль, похвалявшийся, что у него «семнадцать вер... если не больше»). Даже когда Л.А.Симонова находит у того или иного писателя реальные религиозные мотивы, они не обязательно подкрепляют ее тезис о божественном *слушателе*: таковым явно не были, например, «Сильфида», придуманная в отрочестве Шатобрианом, или же «Корамбе», порожденная фантазией юной Авроры Дюпен, будущей Жорж Санд; подобные самодельные «божества» служат для мечтательной самопроекции или юношеского эротического влечения, но не для морального диалога, как понимается общение с Богом в христианстве. Также и в шатобриановской повести «Рене» герой рассказывает о своей жизни не перед лицом божественного слушателя: реальными, земными слушателями его рассказа являются не только католический священник, но и индеец Шактас, своим присутствием разбивающий стандартную ситуацию религиозной исповеди.

Все сказанное выше не является возражениями против концепции, предлагаемой автором диссертации; тем более я не пытаюсь предложить какую-то альтернативную теорию романтического «личного письма», которая опровергала бы теорию Л.А.Симоновой. Я пытался показать другое: эта концепция – сформулированная очень подробно, в пространной вступительной части диссертации, - страдает логическими и методологическими изъянами. Объект изучения остается плохо определенным, а общие тезисы не подкрепляются необходимыми историко-культурными сопоставлениями, недостаточно проверены, зачастую декларативны.

До сих пор речь шла об общих идеях Л.А.Симоновой; к сожалению, их обсуждение затрудняется зыбкостью понятий и голословностью многих тезисов. Сложно обсуждать и конкретный текстуальный анализ, занимающий основную часть работы. Автор диссертации внимательно и подробно разбирает тексты, вникает в переживания и авторские интенции писателей. Ее психологические наблюдения нередко побуждают к сочувствию; из них складываются в целом убедительные портреты шатобриановского Рене (это вообще, на мой взгляд, наиболее удачная глава диссертации – при том что в ней менее всего говорится о «личном письме»), Жермены де Сталь, Бенжамена Констана; более фрагментарны, сосредоточены на частных вопросах главы о Руссо,

Сенанкуре и Жорж Санд. Общий недостаток всех аналитических глав – обилие моральной риторики, исходящей из расхожих схем повседневного сознания и слабо подкрепляемой точными доказательствами. В ней тонут реальные наблюдения, сделанные исследователем, а ее понятийный аппарат связан не столько с наукой, сколько с «житейской» (точнее, беллетристической) психологией, к чему располагают и характерно «беллетристические» сюжеты ряда глав: отношения г-жи де Сталь с мужчинами, семейная история Жорж Санд и т.п. Л.А.Симоновой явно не хватает точного метаязыка (им могла бы служить научная психология, или та или иная версия психоанализа, или теория речевых актов, или еще какая-либо другая дисциплина); оттого ей приходится описывать тексты писателей на их собственном языке, как она его понимает. Это приводит к тому, что разбирается часто не столько *практика* «личного письма» (то, как автор реально осуществляет свой дискурс), сколько *суждения* о нем самих писателей (скажем, Руссо или Жорж Санд), которые, конечно, можно извлечь из их текстов, но которые нельзя принимать за окончательную истину: они ограничены своей эпохой и культурой и не покрывают творческую практику авторов – иначе зачем вообще нужна была бы эта практика, почему данные писатели не могли обойтись одними металитературными суждениями?

Судя по всему, Л.А.Симонова более или менее сознательно практикует метод «вчувствования» в литературные тексты, воображаемой самоидентификации с изучаемым автором; это особенно заметно в последних больших главах, посвященных г-же де Сталь и Жорж Санд; такой метод она называет в начале своей работы «герменевтическим». Но настоящая герменевтика, как известно, включает в свой «герменевтический круг» несколько этапов: не только сочувственное вникание в текст и в мысль его автора, но и дистанцирование от них, аналитическую и критическую самопроверку. Этого этапа недостает в разборах Л.А.Симоновой: она верит на слово авторам разбираемых текстов, а своим читателям предлагает верить на слово ей самой. Примерно так, по ее утверждению, Аврора Дюдеван, еще не ставшая писательницей Жорж Санд, общалась со своим супругом: «Санд хочет, чтобы муж стал читателем её романа, от начала до конца поверив в её правдивость...» (с. 436, подчеркнуто в тексте работы). Сама Л.А.Симонова, однако, написала не роман, а диссертацию, и критерии ее «правдивости», то есть научной состоятельности, не могут основываться на одной лишь вере.

При профессиональной оценке ее конкретно-аналитических глав приходится не столько выделять верные или, наоборот, ошибочные выводы, сколько, как и в концептуальной части, отмечать логические неувязки в аргументации, где многие положения или вовсе ничем не доказаны, или не вытекают из приведенных доводов, а порой и противоречат друг другу. Все эти положения не обязательно ложны, многие из них можно было бы назвать «гипотезами», но их проверка, не выполненная самим автором, была бы непомерно громоздкой работой, превышающей возможности любого рецензента. Приведем ниже лишь весьма неполный список таких сомнительных, не доказанных и потому не имеющих научной ценности высказываний.

«Письмо становится правдой преследуемого, но обретающего духовную свободу человека» (с. 196). Речь идет о Руссо, который в последние свои годы, увы, страдал манией преследования, воображая себя жертвой «заговора философов»; значат ли слова о «правде преследуемого», что автор диссертации солидаризируется с этой манией?

«Просветительская идеология предполагала, что мысль должна иметь прочную связь с действием, должна быть направлена на достижение конкретных результатов, иметь воплощение в жизненной практике» (с. 201; то же утверждение повторяется и в дальнейшем). «Просветительская идеология» - очень зыбкий конструкт; можно ли утверждать, что все просветители разделяли такую установку? Если нет, тогда намеченное здесь противопоставление «Руссо – просветители» не работает.

«Для полноты самоосуществления человек должен “стремиться в течение всей жизни познавать природу и предназначение своего существа”. Таким образом, Руссо один из первых поднимает проблему экзистенциального опыта» (с. 211). «Природа и предназначение» - совсем не экзистенциальные понятия, они отсылают скорее к античной моральной философии; автор диссертации модернизирует своего героя.

«В письме Руссо оказывается перед смоделированным им адресатом, неким “читателем”, реакцию которого он может предвидеть и объяснить. Этот предполагаемый собеседник всегда беспомощен в своей агрессии: его словесная атака предупреждается автором, который умело оспаривает все обвинения, доказательно опровергает аргументы оппозиционера» (с. 221). Вспомним общие положения Л.А.Симоновой о высказывании «перед лицом Бога»: здесь же выходит, что у Руссо подразумевается совсем другой собеседник – какой-то неумелый «оппозиционер» (точнее, конечно, будет сказать - «оппонент»).

«Письмо для Руссо – это способ самозащиты от пагубного влияния преследующего его общества и одновременно способ самоидентификации: проверка своей истинности, верности своему подлинному “я”» (с. 225). О «преследующем обществе» уже сказано выше, и здесь вновь встает деликатная проблема: можно ли утверждать, что «подлинное “я”» писателя – это бредовое, психопатологическое «я»?

«...литературу эпохи Империи, когда личный интерес заслонялся государственным, провозглашалось и закреплялось в мифостроительстве превосходство системы...» (с. 230-231). Какая конкретно «литература эпохи Империи» имеется в виду? Можно ли доказательно утверждать, что в ней государственный интерес заслонял частный? И специфично ли внимание к государственному интересу для периода наполеоновской империи, или это вообще постоянная черта литературы классицизма?

«...в подобного рода повествованиях, когда герой пишет письма, запечатлевающие жизнь его души, Сенанкур имел целый ряд предшественников в лице писателей XVIII века: Гёте с его “Страданиями юного Вертера”, Руссо с его “Исповедью” и “Новой Элоизой”, Стерна с его “Тристрамом Шенди”». (с. 234). Очень странное утверждение: «Вертер» и «Новая Элоиза» действительно состоят в основном из писем героев, но отнюдь не «Исповедь» и не «Тристрам Шенди».

«Шатобриан был не заинтересован в том, чтобы современники непосредственно ассоциировали с ним его героя, в персонаже видели его творца. Доказательством чему служит тот факт, что на титуле своих книг Шатобриан значился как Франсуа-Огюст, в качестве второй части имени используя имя своего отца» (с. 253). Сомнительная логика: если бы Шатобриан хотел ономастически отмежеваться от героя своей повести «Рене», ему проще было бы не менять свое собственное имя Франсуа-Рене на титуле *некоторых* своих книг, а просто иначе назвать самого героя.

«В “Замогильных мемуарах” нет ни одного описания фамильного замка, в котором живёт семья, ни одной бытовой детали. Комбур с его мрачной тишиной, устрашающими привидениями, завораживающей темнотой напоминает замки готических романов» (с. 259). Если «нет ни одного описания» замка, то откуда же его «мрачная тишина», «привидения» и т.п.? Кстати, Комбур не был «фамильным», наследственным замком, отец Шатобриана приобрел его за несколько лет до рождения будущего писателя.

«Язык “Рене”, сам принцип романического письма Шатобриана ориентирован на мифопоэтику Библии» (с. 266). Сильное утверждение, но ничем не доказанное, языковой анализ «Рене» в диссертации отсутствует, ссылок на чужие разыскания по данному вопросу тоже не дается.

«У Рене особое отношение к пейзажу: он не переживает его, но наблюдает, для него природа есть “зрелище” (“le spectacle de la nature”». (с. 282). Слишком сильный, произвольный вывод: почему «зрелище» нельзя переживать, а можно только наблюдать? «Зрелище природы» - одно из общих мест литературы XVIII века, и оно вполне могло сопровождаться страстными душевными излияниями. Кстати, чуть ниже говорится, что в «Рене» «часто упоминаются осенние пейзажи, что усиливает мотив бренности бытия», - стало быть, «зрелище природы» все-таки вызывает некоторые переживания?

«Шатобриану удалось породить в её новой природе мифологему “я”, придав ей убедительность, поскольку гарантом её истинности писатель сделал собственную личность» (с. 292). Неряшливый, не поддающийся обсуждению вывод, завершающий всю главу: что такое «мифологема “я”» - это вообще представление о личности (тогда почему это мифологема, а не понятие?) или же «личный миф» данного автора (тогда как можно «гарантировать его истинность» самой же этой личностью?); что значит «породить мифологему», да еще в «ее новой природе», - какая природа может быть у мифологемы, чисто культурного продукта?

«В “Адольффе” главным действующим лицом, двигателем сюжетного действия является слово» (с. 323). Наверно, точнее говорить не о «двигателе», а о *средстве* сюжетного развития; вообще же в такой сюжетной роли слова у Бенжамена Констане нет ничего оригинального – речами персонажей движутся многие романы XVIII века, классические трагедии Расина и т.д.

«...в сознании писателя сложилось устойчивое представление о двух женских типах» (с. 332). Речь идет о Констане; исчерпывают ли указанные два типа его галерею женских образов – или составляют только часть ее? Как с ними соотносится, например, фигура г-жи де

Рекамье, отношения с которой в 1815 году зафиксированы сразу в разных жанрах констановского «личного письма»? (Это хорошо показано в книге Констан «Проза о любви», изданной В.А.Мильчиной в 2006 году; Л.А.Симонова, кажется, плохо знает это весьма серьезное издание – она ни разу на него не ссылается в тексте диссертации, а в библиографии упоминает с ошибкой в названии.)

«Героиня Сталь всегда чувствует обращённый на неё взгляд Судии, перед которым она, рассказывая о себе, может оправдаться, апеллируя в качестве доказательства правоты к своему человеческому естеству» (с. 346). Ответственное заявление, но доказательств не приведено. Ср. ниже утверждения, которые ему противоречат.

«...развивая положения просветительской этики, Сталь говорит о том, что современные романы должны отличаться “правдивостью и глубиной” в изображении чувств» (с. 352). При чем здесь «этика»? и какое отношение эта банальность имеет к собственно просветительской идеологии?

«Её дневники, письма, трактаты, романы – предельно открытое повествование о себе, правда о “я”, обнаруживаемая перед “другим” (...) Истина не должна утаиваться. Она и является истиной, поскольку явлена в слове. Это литература, ставшая существованием, и существование, ставшее литературой» (с. 354). Что значит «предельно открытое повествование» - как можно научно доказать «предельную открытость»? Весь фрагмент - типичный пример пустой риторики, которой вообще страдает глава о г-же де Сталь.

«Сталь не делает различия между “личным” и “литературным” в письме. Литература есть пульсация живого слова, свидетельство непосредственного авторского присутствия» (с. 361). Опять велеречивая риторика, не имеющая научного смысла.

«Следуя просветительским установкам, Сталь верит в то, что талантливый человек может возвысить свою жизнь до мысли» (с. 365). Непонятно, что здесь просветительского и что значит «возвысить свою жизнь до мысли» - просто научиться думать? Разве для этого необходим особый талант?

«Точкой же пересечения прошлого и будущего является настоящее, к которому Сталь снова и снова возвращается. Сталь всегда говорит из настоящего, а потому её *письмо* эмоционально окрашено» (с. 367). Первая фраза – трюизм, а вторая из нее логически не вытекает, несмотря на каузальный оператор «а потому»: настоящий момент совершенно не обязательно бывает эмоционально окрашен, в нем возможна и апатия, и бесстрастное созерцание, и т.п.

«Способность к совершенствованию» (*la perfectibilité*) – одно из ключевых понятий в философской мысли Сталь» (с. 366). Тут необходимо было упомянуть, что это не собственное ее понятие, оно восходит к Руссо.

«Дельфина хочет быть предельно независимой в своём самоопределении. Она отвергает власть любого закона, будь то закон родства, дружбы или любви» (с. 375, подчеркнуто в тексте работы). Неужели героиня Сталь и впрямь отвергает даже закон любви? Тогда что это за «закон»?

«Женщины живут только любовью», – таково убеждение Сталь» (с. 373). Можно еще сказать, что таково ее *утверждение*, точнее даже не ее собственное, а ее романного персонажа. Сама Жермена де Сталь явно не разделяла такого убеждения, будучи не только любящей женщиной, но и писателем, мыслителем и активным политическим деятелем.

«В XIX веке устанавливается настоящий культ письменного слова» (с. 382). Высказывание, недопустимое в историческом исследовании: должны быть указаны точные рамки (когда именно, в какой стране, среде?), а также доказательства, которых не представлено.

«...дневник Дельфины не играет в романе никакой функциональной роли: из него нет ни одной выдержки. Следовательно, упоминание о дневнике служит свидетельством той роли, какую в жизни героини играет акт *письма*» (с. 382). Наблюдение интересное: в текстах вообще важно отмечать не только наличие, но и нехватку, значимое отсутствие тех или иных вещей. Но вывод сделан тенденциозный и нелогичный: ведь если бы дневник Дельфины цитировался в романе, он точно так же свидетельствовал бы о «роли, какую в жизни героини играет акт письма».

«Дельфина пишет письма не столько с целью общения, не столько с целью открыть себя перед другим, сколько с целью понять себя, объяснить себя для самой себя» (с. 384). Чем это можно доказать? И как это согласуется с прежними утверждениями (тоже, впрочем, недоказанными), что героини г-жи де Сталь чувствуют себя перед лицом «Судии», то есть «другого»?

«Дельфина способна браться за письмо, находясь в любом состоянии, даже в состоянии предельного волнения и горя» (с. 384). Такова обычная повествовательная условность эпистолярного романа, каковым является «Дельфина» г-жи де Сталь: в этих романах персонажи вообще пишут письма всегда и в любых обстоятельствах, чтобы двигался сюжет; есть ли основания делать отсюда выводы о личном характере конкретной героини?

«...о том приписываемом Дельфине качестве, которое, по замыслу Сталь, является прерогативой женского характера и равнозначно романтическому, если понимать под ним восхождение духа в его устремленности к идеалу. Речь идет об энтузиазме» (с. 399). То есть Сталь не признает, что мужчина тоже может быть романтиком и энтузиастом? Неужели автор диссертации берется такое доказать?

«В жертве человек преодолевает собственную ограниченность, неполноту своего “я”, сближается с мировым целым, становится частью универсального гармонического единства. Жертва так же, как стремление к прекрасному, должна стать величайшим наслаждением благородной души. Сталь демонстрирует связь пантеистических и христианских представлений. (...) Готовность принести в жертву всё, и в первую очередь, своё собственное благополучие, слепо доверившись другому и служа исключительно его счастью, преследуя его, а не свои интересы» (с. 403-404). Первый тезис – важный, но не доказанный. Второй ему противоречит: моральное самоотвержение ради другого человека не имеет отношения к «пантеизму».

«Необходимо задаться вопросом, почему романы Сталь лишены исторической панорамности, а судьбы героев вписаны в общественные

события лишь отчасти» (с. 408). Этот вопрос вряд ли разрешим в контексте творчества одной лишь Сталь: отсутствие «исторической панорамности» характерно вообще для романов XVIII – начала XIX веков, исторический роман, как известно, появляется только у Вальтера Скотта и его французских последователей эпохи Реставрации.

«...“я” переписки Сталь тождественно “я” её романов» (с. 409). Из двух романов Сталь реально проанализирован только один; откуда же такой обобщающий вывод?

«Творчество является в представлении Санд бегством от неудовлетворяющей действительности» (с. 414). Верное ли это представление, и подтверждается ли оно творчеством самой Санд? Ведь, как известно, современники читали ее совсем иначе – как социально активную писательницу?

«Псевдоним воспринимается писательницей (Жорж Санд. – С.З.) как её судьба. В её сознании не было чёткой границы между жизнью и романами, между её “я” и героинями её романов» (с. 420). Псевдоним Жорж Санд – мужской. Как же он может означать отсутствие «четкой границы» между писательницей и *героинями* ее романов?

«...поиск слова представляется Санд (...) как погружение в самого себя, в фантазию, сны, инстинктивную эмоциональность – те области, которые расположены на границе сознательного и бессознательного (...). Словесный образ мира есть выход “я” из хаоса» (с. 421). Получается, что «инстинктивная эмоциональность» дает «выход из хаоса», хотя по идее должна, наоборот, в него ввергать.

«Важно заметить, что процесс *письма* предшествует у Санд процессу чтения, и если в процессе *письма* мысль предшествует букве, то в чтении, наоборот, она идёт от формы, знака: “Я научилась читать раньше, чем смогла понять большинство слов и схватить смысл фраз”» (с. 422). Опять вывод не следует из цитаты: «читать» текст, не понимая значение слов и фраз, - совсем не то же самое, что *писать*.

«*Письмо* для Санд становится самодисциплиной» (с. 426). Выше письмо у нее характеризовалось, наоборот, через «инстинктивную эмоциональность» - как это согласуется с самодисциплиной?

«Санд закрепляет за собой право руководить отношениями: она определяет для обоих то, что является их счастьем, к чему они должны стремиться, в чём должны искать утешения. Санд берёт на себя ответственность говорить за обоих» (с. 442). Интересный тезис, но, как часто в диссертации, не доказанный конкретно.

«По письмам к Казимиру Дюдевану осени – зимы 1825 года можно видеть, как Санд начинает отдаляться от своего супруга. На это указывает очень многое. Санд не доверяет мужу решение важных для них вопросов, она всё обдумывает сама, предлагая ему уже готовые решения, которые ей представляются самыми верными, необходимыми, разумными. Санд последовательно, обстоятельно, убедительно расписывает программу их общих действий, отводя мужу роль послушного исполнителя того, что ей видится наиболее правильным» (. 469). Действительно ли такое поведение – знак «отдаления» Санд от мужа? Выше (см. предыдущее замечание) оно описывалось как вообще типичное для нее поведение с мужчинами.

«Счастье для Санд (как и для героинь её романов) есть поиск своего “я” в свободном самовыражении, начиная с интимной беседы, развлечений досуга, любви – и заканчивая творчеством и политикой» (с. 478). В этом перечне форм самовыражения, который противоречит ранее высказанному тезису о «бегстве от действительности», странно отсутствует «личное письмо» (те же письма или дневник), оно вдруг оказалось ненужным...

«У Сенанкура и Шатобриана автор и герой совпадают в самом акте самовысказывания» (с. 491). В соответствующих главах диссертации показано некоторое *сходство характеров* героя и автора, но они безусловно не могут «совпасть в акте самовысказывания», так как принадлежат разным онтологическим мирам (реальному и вымышленному).

«*Личное письмо* является частью литературного процесса, а потому пишущий так или иначе организует высказывание о себе по законам, заданным жанром» (с. 501). Здесь, в самом конце своей работы, Л.А.Симонова признает, что у «личного письма» есть некие жанровые «законы»: что же это за законы?

Наконец, в тексте диссертации есть ряд мелких неточностей, касающихся, в частности, перевода отдельных выражений и написания некоторых имен. В отличие от недостатков, отмеченных выше, они не имеют принципиального значения и не могут влиять на общую оценку работы, но при внимательном прочтении их нельзя было не отметить.

«Ассмус» (с. 35) – должно быть «Ассман».

«Айгельдингер» (несколько упоминаний) – этого французского литературоведа с германской фамилией обычно зовут по-французски «Эжельденже».

«Мадам д`Эпинай» (с. 171) – конечно, «г-жа д`Эпине».

«Автор не может предъявить Всевышнему “хорошие творения”, но лишь “хорошие, но неосуществлённые намерения”...» (с. 227) – ошибка в переводе: *les bonnes œuvres* означает не «хорошие творения», а «благие дела»; понятие не эстетики, а религиозной этики.

«Оставим же эти авторитеты, которые сами себе противоречат...» (с. 239) – ошибка в переводе, должно быть «которые противоречат друг другу» (*qui se contredisent*).

«Замогильные мемуары» станут творческим аккордом Шатобриана...» (с. 281) – кажется, имелся в виду «финальный аккорд в творчестве», а получилось что-то нескладное.

«...дикие североамериканские прерии...» (с. 305, повторяется еще в дальнейшем) – действие повести «Рене» вообще-то происходит в Луизиане, где никаких «прерий» нет.

«...вытесненный двумя стариками, он повернул к жене, но не нашёл с ней счастья...» (с. 318) – невразумительный, ни с чем не сообразный перевод.

«Шарлотта д`Арденберг» (повторяется неоднократно) – жена Бенжамена Констан была немкой, и ее следует именовать по-немецки «Шарлотта фон Гарденберг».

«Анна Линдсай» (с. 336) – скорее всего, «Линдсей».

«М.Рэд» (с. 349) – фамилия английская (Reid), правильная транскрипция будет «Рид».

«...трагедия “Жан Грей” (1791)...» (с. 329) – эта ранняя трагедия г-жи де Сталь называется «Джейн Грей» (королева Англии!); написана она в 1787 году, опубликована в 1790-м.

«В сочинении “О страстях” Сталь...» (с. 364) – ниже эта книга будет названа точнее, с полным заголовком: «О влиянии страстей на счастье людей и народов».

«По мысли М.Брикс...» (с. 393) – эта фамилия принадлежит мужчине (Michel Brix) и должна склоняться.

«Мари д`Агуль» (с. 436 и далее) – правильная транскрипция «д`Агу».

Наконец, на с. 19 искажены инициалы В.Н.Топорова и Т.В.Балашовой, на с. 252 – Алена Монтандона, а на с. 324 – автора настоящего отзыва.

В моем отзыве содержится много критики, и она поневоле занимает много места. Значит ли это, что диссертация Л.А.Симоновой вообще не заслуживает положительных оценок? Нет, автор вызывает безусловное уважение объемом и добросовестностью проделанной ею работы, хорошим знанием текстов, убежденностью в своих выводах и желанием (к сожалению, недостаточно осуществленным) убедительно отстаивать их в своем труде. Проведенный ею анализ может оказать стимулирующее, провокативное влияние на дальнейшее изучение лично-автобиографических форм письма в литературе французского романтизма. Диссертация написана простым, прозрачным языком, хотя ей не хватает концептуальной точности и строгости логических заключений; ее содержание адекватно изложено в автореферате. Вообще, хотелось бы лишний раз подчеркнуть, что у меня нет или почти нет принципиальных возражений против высказываемых в ней тезисов; беда в том, что эти тезисы в значительной части сформулированы нечетко, неаккуратно, неметодично, плохо поддаются проверке и обсуждению, и добытые таким образом знания в значительной части не могут считаться научными знаниями.

По своей образованности, профессиональной эрудиции, трудолюбию автор диссертации, скорее всего, заслуживает институционального признания. Трудно, однако, сказать, по какой именно специальности ей может быть присуждена искомая ученая степень. Как я пытался показать выше, диссертация плохо удовлетворяет ряду важных требований, принятых в историко-литературной науке. Убежденно и настойчиво отстаивая общие идеи о литературном творчестве, автор могла бы быть претендовать на ученую степень по теории литературы или эстетике, но в этих дисциплинах все же требуются более точно определенные категории. Осуществленные ею разборы текстов нередко вызывают согласие и сочувствие на уровне интуитивного читательского опыта, как бывает при чтении критических эссе, но литературная критика не является научной дисциплиной, и по ней не присуждают степеней.

Действующее в России Положение о присуждении ученых степеней, а также его практическая трактовка научно-государственными инстанциями вынуждают официального оппонента давать однозначное – положительное или отрицательное – заключение о качестве диссертации и о том, достоин ли автор присуждения искомой степени. Они не позволяют оппоненту, оставаясь в рамках процедуры, ни воздержаться от решительного суждения (что вправе делать члены диссертационного совета), ни дать диссертации дифференцированную оценку по многобальной шкале (как принято в некоторых странах, например во Франции). В сложном случае – а рассматриваемая диссертация, несомненно, представляет собой институционально сложный случай – эти требования ставят оппонента в безвыходное положение: нормативные критерии оценки сформулированы в Положении расплывчато, не соотносят оценку конкретной диссертации с текущей практикой присуждения ученых степеней, а последняя, в свою очередь, скомпрометирована сегодня в нашей стране массовым распространением халтурных и фальсифицированных квалификационных работ. Суждение, выносимое в таких условиях, само поневоле оказывается условным и относительным. С этими – весьма серьезными – оговорками я полагаю, что диссертация Л.А.Симоновой соответствует требованиям пунктов 9-11 Положения о присуждении ученых степеней (в той мере, в какой они вообще применимы к работам подобного содержания), а знания и добросовестность автора позволяют присудить ему степень доктора филологических наук. Изложенные в моем отзыве сомнения и критические замечания могут побудить диссертационный совет принять иное решение, с которым я заранее готов согласиться.

С.Н.Зенкин

доктор филологических наук,
главный научный сотрудник
Российского государственного гуманитарного университета,
в настоящий момент – приглашенный исследователь
Шеффилдского университета (Великобритания)

14 марта 2016 г.

17

Подпись С.Н. Зенкина
удостоверено
5.4.
назначившие
2016

Зенкин Сергей Николаевич доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Почтовый адрес (рабочий): 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6.

Телефон: 8(903)119-32-54.

e-mail: sergezenkine@hotmail.com

Публикации:

1. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. М., РГГУ, 2012.
2. Зенкин С.Н. Работы о теории. М., Новое литературное обозрение, 2012.
3. Zenkine S. L'Expérience du relatif. P., Classiques Garnier, 2011.